АВТОР РОМАНА «ПУТЬ ЭВРИХА»

Павел Молитвин

ГОРОД ЖЕЛТОЙ ЧЕРЕПАХИ

Есть такие научные открытия, которые перевернули мир. В прямом смысле этого слова.

SHOUT
SHARE
IT

- Павел Молитвин

Павел Молитвин
Алый цветок

1

Сблизились витые стрелки, будто чайка крыльями взмахнула. Осталось от трех суток меньше шести часов. Меньше шести… Глухо прозвучали шаги мои по ковровой дорожке кармазинного сукна. Эхом печальным отозвались безлюдные залы. Тенью туманной скользнуло отражение мое по беломраморным стенам. Вот она, стена заветная, без ниш, завитков накладных и украшений, на ней читала Аленушка письмена мои огненные в первый раз. «Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что на ум придет, исполнять я буду с охотою». На ней читала письмена мои последние, ответом бывшие на ее страстное желание услышать мой голос: «Приходи сегодня во зеленый сад, сядь в свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: „Говори со мной, мой верный раб“». Не надобно стало мне к огненным письменам прибегать, а ныне… Ныне и подавно нужды в них не будет. Поднял руку — вспучилась зеркальная гладь стены, разбежались по ней мелкие трещинки, осыпались блестящие чешуйки, кучкой пепла легли на черный гранит пола, закружились, ветерком подхваченные, и сгинули.

Распахнулись резные двери дуба мореного, пропустили меня в трапезную. Полыхнуло заоконное солнце в витражных стеклах, легли густо-алые, синие, золотые блики на столешницы, драгоценными каменьями изукрашенные, вспыхнули в них и погасли, воле моей повинуясь. Поблекли узоры на стенах, лимонным деревом инкрустированных, посерели люстры хрустальные. Посерели, дымкой подернулись. Не звенеть здесь больше смеху переливчатому, серебряному, не звучать говору сладкому: «Покажись, покажись, господин мой ласковый! Если стар человек — будь мне дедушкой, если середович — будь мне дядюшкой, если ж молод ты — будь мне названый брат и, покель я жива, мне сердечный друг».

Тишина стоит. Тишь кромешная. Даже пенья птиц диковинных из садов моих не доносится. Замолкли птицы.

Не бывало мне до сей поры тягостно во покоях моих, мною созданных. Сам я слуг своих верных, преданных — поваров,

постельничих да конюшенных — по домам вернул, чтоб не мучились. Заточение со мной деля, не кручинились. Чтоб не плакали по ним матушки, жены горькие со детишками. Как осилил манускрипты и скрижали, в Летописной каморе сокрытые, как набрал силу, чтоб Черту разомкнуть, так и отослал. И не было с той поры мне горько одному, не гнела тоска-печаль, не тревожила душу смутную. Не бывало мне одиноко здесь…

Унесла Алена сердце мое, да воротит ли?

Двери, рыбьим зубом отделанные, растворились. Растворились, в гостевую пригласив хозяина. Один здесь гость посетил меня — купчина горемычный, с него-то все и началось. Да полно, началось ли? Или продолжилось то, что Темной Феей в стародавние времена измыслено было? И узнать, проверить — дело нехитрое, захочу — покажет зеркало, что есть, было и в грядущем мне уготовано, да руки не поднять… Даже голосом ответа у правдивого стекла не потребовать.

Венецейских мастеров работы, глянул на меня голубой призрачный глаз. Отразились в нем стены яшмовые, кресла с гнутыми ножками, пурпурным бархатом крытые. Гобелен на стене — с охотой моего отца, средь зеленых дубрав несущегося. Удвоились витые колонны, дверной проем обрамляющие. Помедлив — чурается уродства прекрасное стекло, — воссоздало и мой образ сумрачный. Глянул пристально, глаза в глаза, ухмыльчато — то ли зверь лесной, то ли чудо морское мерзкое. Руки-крюки, на пальцах когти кинжалами. Ноги лошадиные, копытами венчаны, спереди-сзади — горбы великие верблюжьи. Весь мохнатый снизу доверху — золотой парче не укрыть беды. Изо рта кабаньи клыки торчат, смрадная слюна каплет. Нос крючком, как у беркута, а глаза совиные.

О судьбе своей что ж тут спрашивать?

Поднял руку. Не руку человечью — лапу страшную, когтистую. Пробежала рябь по чудо-стеклу, затуманилось зерцало, умерла в нем душа. Не покажет больше мира дивного, многоцветного, не покажет и моей маски-личины пожизненной. Послушны мне вещи — постиг их тайны. Черту, от мира живого меня отделявшую, и ту разомкнуть, преступить могу. Не властна она надо мной более — куда восхочу, в сей миг перенесусь. Одного не дано мне, одно не силам — скинуть личину скотскую, что надела на меня Фея Темная, проклятущая. Ну а в ней-то ведь все без радости. Хоть во граде, хоть в пустыне, хоть в глухом лесу — от людей бежать все едино мне.

Мнилось прежде, Черта — вот беде беда. Отделила людей от меня, отрезала. А на деле-то ровно щит она, словно матушки ладонь укрыла меня от них. Заказала им путь сюда. Со смехом, со

страхом, с бездушьем их.

Как сумел тот купец миновать Черту? Как пробрался, проник во дворец ко мне? Как нашел мой сад, где цветет цветок — диво дивное изо всех чудес? Мой маяк в ночи, мой огонь в груди…

Раскинули стрелки часы — будто навзничь упав, разбросали руки. Не вернется Аленушка, закатилось мое красно солнышко. Меньше пяти часов осталось. Меньше пяти…

По зеленому мрамору во зеленый сад. Так и прежде шел, зная верно, я: не минует пришлец моего цветка. Краше нет его в белом свете всем! Он сорвал его — не сорвать не мог, ох и зол я был, опоздав на миг! Сердце мне купчина вырвал, а пользы чуть. От моих земель до его хором верст немерено, троп неторено…

Как узрел купец лик мой мерзостный, услыхал мой рев сокрушительный, подкосились его ноги резвые, прямо наземь пал, испустивши дух. А придя в себя, откупаться стал за невольный грех, за вину свою. Злато-серебро сулить, позабыв караван поразграбленный и дружков своих затерявшихся. Гол как сокол, как церковна мышь, а туда ж, казною бился несметною!

Мне б казнить его смертью лютою, с глаз бы гнать охальника незваного, я же, выслушав его, слово молвил сам: «Где же злато, — говорю, — где же серебро? Заплати, как обещал, — может, смилуюсь».

Принасупился купец, закручинился, во землю глаза упер, а делать нечего. Нет казны, признает, ну ни грошика. Но отпустишь коль душу трепетну, так пришлю к тебе дочку меньшую. Дочь любимую, раскрасавицу. Ай, хорош был гость, роком посланный, за душонку свою никчемушную родно дитятко прозакладывал.

Что с такого взять? Отпустил его.

Втрое, вчетверо казной снабдил, да злат перстень дал чудодейственный, силой дивною заговоренный. Коль на правый на мизинец кто надел его, пожелай — где хошь, там окажешься.

И исчез купец.

Я цветок вернул на заветный холм, на зеленый холм, на муравчатый. Приживил к стеблю, посмеялся всласть, думу думать забыл об охальнике.

Ан силен испуг на купца напал. Три денька прошло — вижу, гостьица во дворец ко мне заявилася. Лгал купец в глаза — не любима дочь, не красавица — так, девчоночка. На ней платье дорогое, шелком шитое, со чужого плеча — не в облип сидит, а висьмя висит. Голенастая, худая, ровно щепочка, рыжеватая, конопатая. И дрожит-то вся, убивается. Изревелась бы, да боязно прогневить отвратное чудовище. Не открылся я, не пугать чтоб зря, начал молча ей угождать как мог. Яства сахарны, питье медвяное, драгоценностей полны коробы, чтоб отвлечь ее, на

столы воздвиг, на столы воздвиг малахитовы. Платья шелковы, парчи-бархаты, куклы дивные, говорящие — все к ее ногам, чтоб не плакала, чтоб в дому моем не печалилась.

Эх, Аленушка, светик ясный мой! Не заметил я, как в силки попал. Как в силки попал, полюбил тебя на беду свою, на кручинушку…

Светлый луч скользнул на часов стрелу, пала тень ее на графленый диск. Лишь четыре часа мне осталось ждать, хоть и ждать-то мне больше нечего.

Прежде музыка играла во дворце моем несмолкаемо. Птицы пели песни дивные, заливались. Шумом, звоном ключевые ручьи речь вели, а ныне чуть слышно журчат-рокочут. В неба синь, в даль заоблачну фонтаны взмывали — нынче жизнь в них еле теплится, над сырой землей еле пенятся. Цветы мои диковинные красоты неописанной и те блекнуть начали. Только Алый Цветок невредим стоит, сияет, светится, ароматом дурманит горьким, восхитительным.

Эй, печалиться полно! Раньше времени унывать негоже. Али силы мои меня оставили? Не я ли Змия Трехглавого укротил, грады и веси зорившего? Не я ль ватагу Свиста-атамана разогнал, Дикий Брод от злобных русалок вычистил? Хлопнул в ладоши — взметнулись фонтаны ввысь, выше дерев высоких, забурлили, зазвенели переливчато, запели, зажурчали. Ожили ключи хрустальные, наполнился сад мой необъятный заливистыми птичьими трелями. Захотела б Аленушка, давно б приют мой покинула, сколь месяцев злат перстень волшебный под подушкой ее лежал, разрешенье ж домой возвернуться еще раньше было дадено. Да и что ей отчий дом, коль чужая в нем, здесь хозяйка, госпожа и любимица? Аль не пели ей фонтаны песен своих, не шептала листва упоительно? Али птахи не ласкались к ней, я желанья не угадывал, не спешил исполнить тут же их со всем тщанием?

Голос страшный у меня, так привыкла ведь! Лик отвратный, спору нет, да в личине ль суть? Я ж служить ей рад всегда и невидимым — знала, знает то она и доподлинно.

Ах, как время бежит, мчится, катится! Солнце в тучи ушло. Водяные часы. Капли капают, будто кровь моя вытекает прочь… Через три часа жизнь и кончится.

Меж фонтанов и цветов во дворец мой путь. Хоть куда идти — мне без разницы. Я, как дикий зверь, в заточении — из конца в конец клетку меряю, и свободен ведь, а как запертый. Захочу — тотчас в пустыне я, в стольном граде окажусь иль в чужой земле. Захочу — и город тут зашумит любой, околь стен дворца белокаменных. Птицей волен полететь, ланью мчаться вдаль,

рыбой в глуби вод уйти, ветер высвистать, сушь великую наслать иль потоп и мор. Власть огромная, власть чудесная, да зачем она, никого коль ей не порадовать. Для себя же мне чудеса творить ни корысти нет, ни веселия.

Вот челны мои стоят — не шелохнутся. Без весла они и без паруса раньше плыть могли в штиль и в лютый шторм. Колесницы близ — безлошадные, что бегут скорей призовых коней. Будь Алена здесь, прокатились бы. Прокатились бы, позабавились, обгоняя тучи мохнатые, обгоняя ветры крылатые, пронеслись по земле, над землею ли, на закатный свет, на рассветный ли… Мы бы арфы струны затронули, арфы, ветрами управляемой. Иль шутихами, фейерверками, даль лиловую расписали бы… В грозовую стынь, в гром грохочущий, поднялись усильем лебяжьих крыл, среди молний чтоб хоровод вести… Мы б… Да что о том говорить теперь, когда гаснет день.

Во саду моем пусто-холодно, во дворце моем и того смурней — ровно сумраком все подернуто, ровно пылью все припорошено. Лишь песчинки шуршат, струйкой сыпятся — время жизни мне горькой меряют. Меньше двух часов — каждый час, как век, — мне в дому-гробу думу думати. А потом прощай-прости, белый свет, пусть звезда моя в бездну катится…

Не могу сидеть, не могу стоять — ноги сами собой все несут, несут… Я из зала в зал, словно тень, как тать, хоронясь зеркал пробираюсь. В каждой горенке, светелке сердце стукает, замирает дух. Здесь Алена на рожке простом, на пастушеском, ту мелодию играла, что звучит во мне по сей день, как встарь. Рукодельями занималася, вышиванием. Письма к батюшке писала золотым пером…

Много ль, мало ли прошло с того времени, не вернуть назад, что прожито здесь.

Я ей отчий дом заменить не смог, ни сестер ее, ни подруженек… Зверь лесной, морско чудище на весь век таким и останется, не с руки с ним жить красной девице. Видно, страшен он в усердном услужении и в добре своем отвратителен. А коль ласков быть пытается, так противен и смешон одновременно…

Страшилась меня Аленушка. Страшилась до последнего мига, хотя ужас свой скрывала тщательно.

Потому, знать, и хранила злат перстень под подушкою — не решалась надеть. Гнева моего, отмщения страшилась. Стало быть, и нынче в дому у себя трясется, не нагряну ли… А может, поверила, что умру, коли ровно через трое суток не вернется она? Или думать обо мне, вспоминать забыла? Запамятовала, что за час до срока урочного возвратиться обещалась?

Что ж, могла и забыть. Память девичья короткая…

Возникли на стене стре́лки горестные, как углы рта опущенные. Меньше часа осталось.

Непослушные ноги вынесли меня в горницу, где стены затянуты светлыми тканями, а пол устлан пушистым ковром. Что же это? Не бывал я здесь прежде иль не упомню хором своих? Ах ты, чудо-юдо, зверь лесной, гад морской! Это же опочивальня ее! Сама Аленушка ее выбирала, сама обставляла, сама порядок в ней поддерживала. Фонтан воды бьет в вазу хрустальную — для умывания. Кровать пуховая. На столиках кувшинчики, баночки-скляночки с мазями, притираньями, румянами, благовоньями, ларцы и шкатулочки с украшеньями, безделушками — все, что девицам любо-дорого. Зеркала… Зеркала стоят занавешены. А на столике, что пестрей других… То записка мне недописана. «Господин ты мой, добрый, ласковый…» — и отточия, словно дух свело.

Тишина стоит. Тишь кромешная. Только чу!.. А может, послышалось? Родилась в глубине анфилад песнь души моей. Песнь безнадежной надежды.

Ты вернись, вернись!.. Коль записка недописана, коли слово недосказано… Ветры буйные, охладите грудь, разразись гроза! Коли слово недосказано, не совсем ведь мы расстались?! Без тебя пусты залы-комнаты, без тебя и сад — дикий лес без троп! Без тебя темно даже в светлый день: солнце в небе есть, а на сердце — тень! Ты и кровь моя, и душа, ты как молний блеск в жизнь мою вошла! Осветив ее, обогрев, опалив ее, изменив! Без тебя теперь, как в колодце, тьма, тишина кругом, пустота. В знойный день — родник, поводырь — слепцу, в половодье — плот, в непогоду — кров. Ты как щит в беде, ты как меч в бою, без тебя я жизнь, словно кладь, тащу. Не по силам груз и не по плечу…

Сердце громко бьет, гулко ухает, и в ушах стоит колокольный звон. Алый мой Цветок, светлый мой маяк, помоги же, друг, мне в последний час!

Вскрикнули скрипки. Оборвалась печальная мелодия. Невидимые часы загудели, запели бронзовым басом. Раз, два, три, четыре удара…

Заохало, захохотало где-то вдалеке, завизжало нестерпимо, пронзительно, запричитало дурными голосами, заплакало. Качнулись стены и обрушились. Закружилась звездная карусель, завертелась. Легким стало тяжкое мое, неуклюжее тело, падая в нескончаемо глубокий колодец, и сомкнулась перед очами тьма.

Не пришла Алена. Не вернулась в срок.

2

Долго смотрела я на него, распростертого на зеленом пригорке. Словно дитя любимую игрушку, обнимал он стебель Алого Цветка и казался мертвым. Оттого, наверно, что склонился Алый Цветок, поник на щеку лежащего, будто пожалеть хотел, утешить, приласкать. Будто оплакивал.

— Полно прохлаждаться, вставай!

Он шевельнулся. Губы дрогнули и прошептали:

— Не пришла Аленушка…

— И не придет. Два часа миновало сверх урочного срока. Вставай!

— Незачем…

— И долго ты так валяться намерен, дохлым прикидываться?

Он поднялся, окинул меня холодным безучастным взглядом и уставился на Алый Цветок. Пробормотал что-то, поднял серебряное ведерко и направился к бассейну, из центра которого совсем недавно бил фонтан.

Склонившись над водой, некоторое время изучал свое отражение, заново привыкая к человеческому облику. Потом разбил зеркальную гладь ведерком, набрал воды. Полил цветок, подождал, пока тот выпрямится, вновь засияет волшебным светом, и поднял на меня глаза.

— Зачем ты пришла в мой сад?

— Настало время. Хочешь, верну Алену? Заставлю полюбить так, что она дня без тебя, часу прожить не сможет.

— Нет. Заставить я и сам могу. Только это уже не любовь будет.

— И тебе не хочется отомстить?

— Разве за это мстят?

Ну что ж, правильно. Я заколдовала мальчишку, самоуверенного и самовлюбленного юнца, а теперь… Гадкий утенок превратился в лебедя. Впрочем, это мы еще посмотрим.

— Но раскаяние?.. Угрызения совести она должна испытать, правда? Ты был так добр с ней… — Голос мой стал привычно вкрадчивым, соболезнующим.

— Нет. Довольно того, что ты направила сюда ее батюшку. Оставь это семейство в покое. — Он заметил, что я намерена возражать, и жестко добавил: — Я так хочу.

— Да знаешь ли ты, с кем говоришь? — Мой высокомерный, уничижительный тон должен был задеть его, расшевелить, но он только слегка пожал плечами.

— Я узнал тебя. Зачем ты пришла в мой сад?

— Ты ненавидишь меня?

— Как можно? Если б не ты, я никогда бы не встретился с Аленой.

— Это правда, — согласилась я и поняла: свершилось.

С тех пор как не стало Светлого Владыки, сколько их уходило отсюда со своими Аленами, Машеньками и Дашеньками, чтобы обрести свое незамысловатое, недолгое человечье счастье. Сколько разбилось здесь сердец, так и не дождавшись возвращения своих возлюбленных… Сколько озлобленных, обуянных жаждой мщения обрушилось на грады и веси пожарами, набегами кочевников, гладом, мором, засухой… И все для того, чтобы явился один. Единственный. Тот, кто возьмет на себя чужую боль и отчаяние, кто не даст захлебнуться миру в жестокости, ненависти, подлости и предательстве. Не мной придумано испытание звериной личиной, любовью и Алым Цветком, и хотя величают меня Темной Феей, я бы, пожалуй, не решилась выковывать Светлого Владыку таким варварским способом. Впрочем, это уже не моя забота, я только выполняю то, что завещал перед кончиной его предшественник. Мне ли судить о силе Сострадания, которой должно обладать, чтобы слышать крик горя, шепот печали и безмолвие отчаяния человеческого?

— Третий раз спрашиваю: зачем пришла ты в мой сад? — Брови его сдвинулись, но серо-зеленые глаза смотрели по-прежнему холодно и спокойно.

Зябко мне стало. И все же, преодолев себя, я спросила:

— О каком саде ты говоришь?

Гарью запахло. Вместо дивного сада с фонтанами, с цветами, с птицами чудными мертвая, выжженная равнина раскинулась. Куда ни кинь взгляд — только земля черствая, потрескавшаяся, хрупкая и звонкая, как глиняные черепки. Да Алый Цветок между нами. Последний цветок. Заветный.

— Не будет больше сада. Кончились годы ученичества. Я пришла за тобой. Теперь ты Светлый Владыка.

Он не стал переспрашивать. Сразу понял. Не зря столько лет звериную личину носил, не зря манускрипты древние штудировал.

— Не буду я Светлым Владыкой. Силу чувствую, а боли людской не слышу. — И добавил тихо: — Только свою. Только свою боль и слышу я. Ею до глаз затоплен.

— Ты ощутишь, ты должен. Ты — Светлый Владыка.

— А ты кто? Откуда взялась на мою голову? Зачем тебе, Темной Фее, Светлый Владыка понадобился?

— Нет без света тени. Нет меня без тебя. Кончится мир человеческий без добра, без сострадания, без помощи твоей. Через муки душевные, через любовь безнадежную, через мудрость прошлых веков должен ты стать Светлым Владыкой.

Он молчал. Лицо его дышало волшебной силой, он понимал

речь мою, но не чувствовал то, что ощущать должен Светлый Владыка. Что-то сделала я не так, или предшественник его плохо растолковал мне, что от меня требуется.

Он молчал, и тогда я, Темная Фея, произнесла то, чего ни чувствовать, ни тем более говорить не должна была:

— Ты уже слышал людскую боль. Вспомни как следует. Ты слышал ее, прежде чем выйти на единоборство со Змием, прежде чем преградить путь войску Бекрет-султана, прежде чем обрушить Страх-гору на грозных волхвов с Пучай-реки. Твоя правда ослепила тебя, оглушила тебя собственная боль, собственное горе. Но я помогу тебе.

Ни любви, ни дружбы, ни родных, ни друзей у нас нет и быть не может. Темные, тяжелые, мутные волны Всевластного Времени уносят их от нас все дальше и дальше. Стираются из памяти дорогие образы, звуком пустым становятся любимые имена, а потом и вовсе забываются. Нет у нас ни дома, ни крова, и единственная отрада наша — Алый Цветок. Он возвращает горькую и все же святую память. Он согревает сердце и веселит душу. Он один облегчает многовековое служение наше. Понадобится он и Светлому Владыке, когда станут иссякать его силы, и все же, если нет других способов…

— Я помогу тебе, — повторила я и, сделав шаг, наступила на горящий, трепещущий, сияющий, как крупица Солнца, Алый Цветок.

Пала тьма. Ударила молния. Грянул сокрушительной силы гром. Пала тьма и вновь рассеялась. Одни мы на выжженной равнине остались. Исчез Алый Цветок — отрада моя последняя.

Одни мы стояли на пеплом покрытой равнине — я и Светлый Владыка. Побледнело лицо его, вмиг осунулось. Скорбные морщины от крыльев носа к углам рта разбежались, складка вертикальная промеж бровей легла. Плеснула в глазах тоска, боль, доселе неведомая.

— Ты теперь Светлый Владыка! — в третий раз сказала я, не сказала — крикнула, вглядываясь в его застывшее, замершее лицо. Лицо человека, слушающего что-то, неслышное другим. Таким и предшественник его мне запомнился. — Началось твое служение. Из веку в век обречен ты слышать чужую боль, чужое горе и отчаяние. И мчаться на помощь. Даже если помочь не в силах. Ни на миг не дадут тебе покоя людские страдания.

— За что же мне это? — выдавил он. На краткий срок просветлел лицом — есть еще время словцом со мной перемолвиться.

— За то, что уродился таким. За то, что сам себя таким сделал. Кому много дано — с того и спрос велик.

— А моя человечья жизнь? Моя человечья доля счастья?

— Нет тебе человечьей доли. Судьба твоя — счастье других устраивать.

— А ты? Враг ты мне или друг?

— Я Темная Фея. Позовешь, когда занадоблюсь. Бывает, что и у Светлого Владыки во мне нужда возникнет. Прощай.

Ответить он не успел. То ли младенец где-то заплакал горько, то ли сошлись две рати на кровавую сечу… Исказила белое лицо гримаса страдания, и пропал Светлый Владыка, словно растаял в воздухе.

Светлый Владыка! Кто ж насмешку такую выдумал? Горя чужого, боли чужой раб — вот как правильно назвать тебя надо бы. Рабом бы и считала, если б не та улыбка светлая. Поистине удивительная улыбка, с которой предшественник твой землю эту многострадальную покинул.

1990 г.